

Ладыженский В. Памяти А.П. Чехова. (К десятилетию со дня смерти) // Современный мир. СПб., 1914. № 6. С. 91–99.

Памяти А. П. Чехова.

(Къ десятилѣтію со дня смерти)

I.

Въ одномъ изъ разсказовъ Чехова есть упоминаніе о томъ, что у царя Соломона была печать съ надписью: „все проходитъ“. Герой разсказа хотѣлъ бы другой надписи, другого девиза. Онъ хотѣлъ бы заказать печать съ надписью: „ничто не проходитъ“. И не одинъ онъ, конечно, готовъ былъ бы сопротивляться безнадежному пессимизму, готовъ былъ бы противорѣчить могучему автору Экклезіаста. Сама жизнь каждымъ яркимъ своимъ лучомъ и каждымъ трепетомъ своего дыханія присоединилась бы къ его законному протесту. И тогда безнадежный девизъ, быть можетъ съ непрекаемой ясностью для всѣхъ, принялъ бы нѣсколько иную формулировку. Все проходитъ, возникая вновь въ иныхъ формахъ вѣчной и неистребимой жизни. Въ такомъ примиреніи заложена неизбежная грусть, а не мертвящій холодъ отчаянья...

Десять лѣтъ прошло со дня смерти Чехова. Намъ, его современникамъ, и особенно людямъ, пользовавшимся его близостью, кажется это страннымъ. Хочется кого-то спросить: неужели уже прошло такъ много времени, неужели уже такъ давно его нѣтъ съ нами, и мыслящее общество прислушивается къ инымъ вдохновеніямъ, ждетъ строкъ иныхъ художниковъ, какъ ждало когда-то страницъ Чехова? Такая „странность“ нерѣдко посѣщаетъ людей при воспоминаніяхъ о дорогихъ и близкихъ тѣняхъ, и чѣмъ значительнѣе ушедшій человѣкъ, тѣмъ она острѣе и настойчивѣе.

Второго іюля 1904 года скончался въ Баденвейлерѣ А. П. Чеховъ. Ранняя смерть унесла „владельца думъ“ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Эти годы протекали однако на нашихъ глазахъ, мы ихъ переживали вмѣстѣ съ нимъ, мы страдали ихъ общественно-сумеречнымъ настроеніемъ и радовались неистребимой радостью человѣческой жизни. Прошли и они. Ибо все проходитъ, или, вѣрнѣе, вновь возникаетъ въ иныхъ формахъ вѣчной жизни.

Многое измѣнилось въ общественной жизни. Измѣнилось въ самыхъ нѣдрахъ „россійской дѣйствительности“, распатавъ тѣ устои, которые не столько поддерживали жизнь, сколько мѣшали ей, словно колы, торчащій на сумеречномъ пути запоздалаго путника. Жизнь идетъ... Напрасны и безумны усилія остановить ее на одномъ мѣстѣ, какими бы побужденіями—искренно или лицемѣрно—ни прикрывались остановители. Жизнь идетъ. И можетъ идти она только въ одномъ направленіи, —въ томъ направленіи, на концѣ котораго человѣчество ожидаетъ найти счастье.

Воспоминанія о недавнемъ прошломъ охватываютъ меня. Думая о Чеховѣ, я перелистываю недавно изданные отрывки изъ его „Записной книжки“ и мнѣ попадаются на глаза слѣдующія строки: „Пусть грядущія поколѣнія достигнуть счастья, но вѣдь они должны же спросить себя, во имя чего жили ихъ предки и во имя чего мучились“. Да, должны, разумѣется. Но отвѣтить на такой вопросъ по поводу жизни самого Чехова, отвѣтить не въ общихъ чертахъ, а подробно,—было бы мнѣ непосильно. Это значило бы исчерпать всю суть огромнаго творчества поэта, чего не могла до сихъ поръ сдѣлать обширная критическая литература о Чеховѣ. И не одними только ужасами и нелѣпостями общественной жизни мучится художникъ вмѣстѣ съ своими современниками. Его чуткое сердце слышитъ горе тамъ, гдѣ не замѣчаютъ его окружающіе, его зоркій глазъ видитъ ужасъ обыденной жизни, мимо котораго такъ часто проходятъ равнодушные, задавленные своими дѣлами и дѣлишками люди. Переверните страницу той-же чеховской „Записной книжки“, и вы убѣдитесь въ этомъ, читая: „когда живешь дома, въ покоѣ, то жизнь кажется обыкновенною, но едва вышелъ на улицу и сталъ наблюдать, расспрашивать, на примѣръ, женщинъ, то жизнь ужасна. Окрестности Патриаршихъ Прудовъ на видъ тихи и мирны, но на самомъ дѣлѣ жизнь въ нихъ—адъ“... Да, конечно, слѣдующія поколѣнія на своемъ пути къ счастью должны будутъ спросить себя, во имя чего жили и во имя чего мучились ихъ предшественники, но если этотъ вопросъ обратятъ они къ своимъ крупнымъ художникамъ, то въ отвѣтъ на него они будутъ всегда встрѣчаться съ своимъ собственнымъ идеаломъ. Художникъ—потому и художникъ, что безконечно опережаетъ человѣчество на его неизбежномъ пути. И это оттого, можетъ быть, что онъ многое видитъ и знаетъ. Знаетъ не только больше того, что знаютъ его современники, но и больше того, до чего тяжелымъ трудомъ будутъ доходить слѣдующія поколѣнія. За иллюстраціей такой мысли обыкновенно отсылаютъ къ произведеніямъ писателя. И это, разумѣется, очень правильный путь. Пусть такъ и поступитъ читатель, перечитывая сочиненія Чехова. Но пусть раньше перелистуетъ онъ все ту же отрывочную, милую его „Записную книжку“. И онъ сразу увидитъ, что Чеховъ зналъ, что „мы переутомились отъ раболѣпства и лицемѣрія“, что „кто лжетъ, тотъ грязенъ“, „что нигдѣ такъ не давитъ авторитетъ, какъ

у пась, русскихъ, приниженныхъ вѣковымъ рабствомъ, боящихся свободы“, что „въ семьѣ, гдѣ женщина буржуазна, легко культивируются панамисты, пройдохи, безъидейные скоты“... И еще многое другое узнаеть онъ изъ основныхъ мотивовъ чеховскаго творчества. И тогда легче будетъ ему отвѣтить на самому себѣ поставленный вопросъ о томъ, во имя чего жилъ и во имя чего мучился почившій писатель. Узнаеть онъ также и о различныхъ отношеніяхъ къ явленіямъ жизни. Онъ узнаеть о томъ, что оны могутъ быть или безгранично искренними, или безгранично лицемерными, хотя бы изъ такого отрывка: „Умный говорить: это ложь, но такъ какъ народъ безъ этой лжи не можетъ, такъ какъ она исторически освящена, то искоренять сразу ее опасно, пусть она существуетъ пока, лишь съ нѣкоторыми поправками. А гени: это ложь, стало быть, это не должно существовать“.

Мнѣ не кажутся особенно сложными мотивы, во имя которыхъ жили и мучились поэты и гени. И особенно такой нѣжный и отзывчивый талантъ, какъ Чеховъ.

— Счастье человѣческаго общества и свобода духа.

Или даже еще короче, потому что счастье и безграничная свобода человѣческаго духа—синонимы.

II.

Судьба на всю жизнь въ моеѣ земской работѣ поставила меня лицомъ къ лицу съ тѣмъ величайшимъ лицемеріемъ, которое называется у насъ народнымъ образованіемъ. Не настоящее, а поддѣльное. Жалкая, заподозрѣнная, полусознательная школа съ безправнымъ, полуголоднымъ учителемъ. Учатъ неизвѣстно для чего грамотъ, ибо больше всего, какъ огня, боятся книжки въ деревнѣ. Боятся до того, что скоро, кажется, не по чемъ будетъ читать, даже „пальчикомъ вода“. И всю жизнь мнѣ говорятъ по этому поводу умные:

— Все это выросло изъ русской дѣйствительности. Вы говорите, что это ложь. Но такъ какъ народъ жить безъ этой лжи не можетъ, такъ какъ она исторически освящена, то искоренять ее сразу опасно. Пусть она существуетъ пока, лишь съ нѣкоторыми поправками.

Она и существуетъ... съ поправками.

Однако еще недавно говорилъ мнѣ мужикъ по тому же самому поводу.

— Дорогая, а никчемная школа. Небось, господа своихъ дѣтей по другому учить стараются. Опять же вотъ книжки. Насчетъ полученія газеты волость, скажемъ, препятствіе обнаруживаетъ.

Я перелистываю свои воспоминанія о Чеховѣ, напечатанныя давно, подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ кончины крупнаго художника и прекраснаго человѣка, перелистываю эти воспоминанія и читаю все по тому же самому поводу:

— Все это хорошо, и дай тебѣ Богъ всякаго успѣха, но по настоящему нужны не школки съ полуголоднымъ учителемъ и не аптечки, а народные университеты.

Мнѣ представляется вообще замѣчательнымъ отношеніе Чехова къ народному образованію въ широкомъ смыслѣ этого слова. И мнѣ думается, что это сравнительно еще мало отмѣчено и, такъ сказать, еще не достаточно подчеркнуто въ обширной критической литературѣ о немъ. А между тѣмъ матеріала для этого слишкомъ достаточно, и самый вопросъ важенъ для характеристики отношенія писателя къ народу, къ его широкимъ демократическимъ массамъ. Я не собираюсь, разумѣется, въ этой, посвященной свѣтлой памяти Чехова замѣткѣ, восполнить указанный выше пробѣлъ, но попутно, не могу не вспомнить изумительно превосходнаго разсказа „Домъ съ мезониномъ“, разсказа, писавшагося почти на моихъ глазахъ послѣ долгихъ споровъ и разговоровъ на тему о народномъ образованіи и объ отношеніи интеллигенціи къ широкимъ демократическимъ массамъ. Внимательный и чуткій читатель найдетъ, думается мнѣ, въ этомъ разсказѣ въ отрывочной формѣ чуть ли не цѣлое міросозерцаніе. И думая о людяхъ, разъединенныхъ между собой и заваленныхъ работою настолько, что имъ некогда оглянуться, некогда подумать о себѣ и своихъ духовныхъ потребностяхъ, онъ пойметъ значеніе и цѣну народнаго образованія, разумѣется, настоящаго, а не поддѣльнаго, — непременно связаннаго съ справедливыми условіями жизни для всѣхъ людей. Вспомните, что гений не можетъ сказать иначе:

— Это ложь, стало быть, это не должно существовать.

* * *

Крупный художникъ всегда видитъ человѣка за тѣмъ профессиональнымъ образомъ, по которому такъ часто, какъ палкой, колотятъ нелѣпныя условія жизни. Въ русской литературѣ верѣдко прекрасно и съ глубокой реалистической правдой изображался народный учитель. Но Чеховъ, думается мнѣ, надолго останется наиболѣе интимно-близкимъ писателемъ для учительства. И это потому, что въ его художественныхъ образахъ дорогой для него человѣкъ слишкомъ уже нераздѣльно сливался съ дорогимъ для него профессиональнымъ образомъ. Вспомните только разсказъ: „На подводѣ“. Вспомните эту учительницу, измученную жизнью, постарѣвшую въ избѣ, гдѣ отъ сырости тускнѣетъ фотографія ея матери, вспомните ее, ожидающую проѣзда у желѣзнодорожнаго шлагбаума. И когда поразило ее случайное сходство съ матерью промелькнувшей на площадкѣ вагона женщины, когда свѣтлыя воспоминанія дѣтства охватили ее и встали страшнымъ контрастомъ съ дѣйствительностью, „отъ восторга она сжала себѣ виски ладонями и окликнула пѣжно, съ мольбой: мама! И заплакала, неизвестно отчего... Да, никогда не умирали ея отецъ и мать, вѣкогда она не была учительницей, то былъ длин-

ный, тяжелый, страшный сонъ, а теперь она проснулась... И вдругъ все исчезло. Шлагбаумъ медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченѣя отъ холода, съѣла въ тѣлѣгу“.

Поездъ умчался, а „тяжелый, страшный сонъ“ остался дѣйствительностью, увы,—не для одной Марьи Васильевны, а для сотенъ тысячъ людей... Глубоко трогательнымъ и поразительно нѣжнымъ было отношеніе Чехова къ учительству не только въ художественныхъ произведеніяхъ, но и въ его личной жизни. И такая черта только дорисовываетъ и дополняетъ его прекрасный и цѣльный образъ, какъ человѣка. И не даромъ воспоминанія о Чеховѣ М. Горькаго наполовицу заполнены сѣтованіями Чехова на положеніе дорогого и близкаго ему народнаго учительства. Для него мечталъ онъ устроить санаторіи въ деревнѣ Кучукъ Кой, больнымъ и бѣднымъ его представителямъ постоянно оказывалъ онъ матеріальную помощь и за ней же обращался къ своимъ многочисленнымъ знакомымъ. Мысли покойнаго Чехова, записанныя въ воспоминаніяхъ Горькаго, никогда, разумѣется, не будутъ забыты учительствомъ. Твердо ли однако и когда именно засядутъ онѣ въ памяти русскаго общества? Когда оно повторитъ вмѣстѣ съ почившимъ писателемъ.

„Нашъ учитель восемь-девять мѣсяцъ въ году живетъ какъ отшельникъ, ему не съ кѣмъ сказать слова, онъ тупѣетъ въ одиночествѣ, безъ книгъ, безъ развлеченій... а созоветъ онъ къ себѣ товарищей—его обвинять въ неблагонадежности... глупое слово, которымъ хитрые люди пугаютъ дураковъ!.. Отвратительно все это... точно какое-то издѣвательство надъ человѣкомъ, который дѣлаетъ большую, страшно важную работу... Знаете,—когда я вижу учителя, мнѣ дѣлается неловко передъ нимъ и за его робость, и за то, что онъ плохо одѣтъ... мнѣ кажется, что въ этомъ убожествѣ учителя и самъ я чѣмъ-то виноватъ... Серьезно!“.

Одинъ изъ талантливѣйшихъ русскихъ писателей твердо зналъ это. Но если бы хоть и не столь твердо зналъ это восхищающійся имъ читатель, то бывшій въ началѣ настоящаго года первый всероссійскій съѣздъ по народному образованію не закончился бы, судя по многочисленнымъ газетнымъ сообщеніямъ, такимъ стыднымъ и трагическимъ недоразумѣніемъ: не посыпалось бы на побѣдныя головы довѣрчивыхъ участниковъ града репрессій!..

Чеховъ оставилъ по себѣ свѣтлую память въ дѣлѣ русскаго народнаго образованія. Оставилъ онъ ее своимъ яснымъ взглядомъ на значеніе образованія въ жизни народной, своимъ простымъ, любовнымъ отношеніемъ къ его главному работнику-учителю, и всѣмъ этимъ, разумѣется, гораздо больше, чѣмъ постройкой двухъ школъ въ Серпуховскомъ уѣздѣ. Мелиховская школа была его настоящимъ дѣтищемъ. Я помню, какъ онъ ее строилъ и съ какой надеждой мечталъ о ея грядущей дѣятельности. Казалось, что большой писа-

тель, вѣчно занятый своими думами и художественными образами, находить душевный отдыхъ въ мелкихъ заботахъ о мелкомъ, самомъ простомъ и необходимомъ человѣческомъ дѣлѣ. Наконецъ школа была выстроена, и ея освященіе и открытіе состоялось въ августѣ 1898 г. Случайно, проѣздомъ изъ-за границы, я былъ въ эту пору въ Москвѣ и пріѣхалъ навѣстить Чехова въ Мелихово какъ разъ въ день открытія школы. Мнѣ думается, что я никогда не видалъ Чехова такимъ радостнымъ и, по обычаю, шутливымъ, какъ въ этотъ день. Онъ, повидимому, обрадовался мнѣ на этотъ разъ не только какъ гостю, но и какъ человѣку, съ которымъ могъ раздѣлить свое скромное, но дорогое ему торжество. Радостно шутилъ онъ, пытаясь выдать меня молодой учительницѣ за начальство, за „чужого инспектора“ народныхъ школъ. Молодая дѣвушка, если не ошибаюсь, только что кончившая Серпуховскую гимназію, едва ли однако ему повѣрила. Слишкомъ преувеличенный тонъ о значеніи и необходимости моей абсолютной власти, къ тому же неудачно поддержанный мной, выдавали присутствующимъ мистификацію... Но какъ часто потомъ случалось мнѣ наблюдать, что тѣ уродливости, которыя могли служить для Чехова только предметомъ шутливой мистификаціи, жизнь обращала въ суровую и кошмарную дѣйствительность... И вспоминая о Чеховѣ, нужно и должно сказать, что онъ любилъ народнаго учителя, любилъ трогательной любовью большого человѣка, который не могъ не любить всего того, что создаетъ лучшія условія для жизни широкихъ демократическихъ массъ. Кстаті. При возникновеніи Пушкинскаго общества взаимопомощи народныхъ учителей въ г. Пензѣ, Чеховъ первымъ записался въ число его членовъ, потребовавъ отъ меня въ обмѣнъ членскаго взноса въ Серпуховское общество взаимопомощи учителей... Радостный, какъ всегда, уѣзжалъ я тогда изъ Мелихова, увозя съ собой на память очередной авторскій подарокъ: книжку съ шутливою надписью.

„Господину инспектору Владиміру Николаевичу Ладыженскому, присутствовавшему на молебнѣ и всѣхъ очаровавшему своимъ обращеніемъ, отъ скромнаго автора. 1898 29 авг.“.

III.

Я увозилъ въ карманѣ книжку съ надписью „отъ скромнаго автора“. А скромный авторъ былъ въ эту пору самымъ извѣстнымъ и моднымъ писателемъ въ странѣ, поистинѣ—властителемъ думъ современниковъ. И я думаю теперь о томъ, какимъ образомъ и отчего скромность и такая широкая извѣстность могли умѣщаться, нисколько не ссорясь другъ съ другомъ, въ оригинальной и красивой фигурѣ этого большого человѣка. И мнѣ думается, что это легко объяснить, если принять, что всякій общественный дѣятель подчиняется, въ зависимости отъ своей нравственной величины, одному изъ двухъ неизбѣжныхъ понятія. Понятія эти—слава или успѣхъ. Слава соединяется съ преслѣдова-

нѣмъ большихъ цѣлей, а успѣхъ—съ погоней за самыми маленькими. И, дѣйствительно, въ записную книжку Чехова занесенъ характерный отрывокъ: „Дѣла опредѣляются ихъ цѣлями: то дѣло называется великимъ, у котораго велика цѣль“. Люди, избавляющіеся отъ служенія ничтожнымъ и мелкимъ цѣлямъ, дѣлаются свободными. И потому слава не только можетъ, но и должна, повидимому, сопутствовать скромности. Поэтому и Пушкинъ могъ говорить, обращаясь къ поэту: „ты самъ свой высшій судъ“ и въ то же время обращать къ самому себѣ страстное желаніе: „чтобы мой стихъ вѣка переживалъ“... Иное дѣло—успѣхъ. Этотъ сердитый и маленькій тиранъ, плѣняя мелкими цѣлями, старается захватить человѣка себѣ и поминутно дерется со скромностью. И все никакъ не можетъ онъ успокоиться, не можетъ остановиться хоть на минуту, чтобы вдумчиво на себя оглянуться. Ему непремѣнно нужны аршинныя афиши на всѣхъ перекресткахъ, портреты во всѣхъ позахъ въ магазинныхъ витринахъ. Онъ все спѣшитъ и боится. Боится, что его сейчасъ же забудутъ, и презрительно отъ него отвернется та толпа, которой онъ служилъ. Маленькій тиранъ, этотъ настоящій властитель эстрады, неустанно придумываетъ свои маленькіе, но жестокіе законы успѣха, заключающіеся въ непрерывности трюковъ. И ничего не подѣлаешь. Вѣдь если Маша имѣла значительный успѣхъ на эстрадѣ потому, что появилась на ней въ замѣчательно короткой юбкѣ, то къ этому нельзя дать привыкнуть, и конкурирующей съ ней Дашѣ, чтобы имѣть успѣхъ, остается появиться на эстрадѣ, лишивъ себя и этого послѣдняго украшенія...

Не таковъ, конечно, писатель, преслѣдующій въ художественномъ творчествѣ не мелкія и временныя, а большія и вѣчныя цѣли. Онъ въ личной жизни цѣломудренно стыдливъ, и успѣхъ въ неизбежныхъ проявленіяхъ толпы его смущаетъ и раздражаетъ, онъ обнажаетъ его, снимая съ него тотъ колпачекъ, подъ которымъ ему такъ хорошо, покойно и привольно. И имя этому колпачку скромность. Но пусть объ этомъ скажетъ самъ Чеховъ.

„Прѣзжаю къ знакомому, застаю ужинъ, много гостей. Очень весело. Мнѣ весело болтать съ сосѣдками и пить вино. Настроеніе чудесное. Вдругъ поднимается Н. съ важнымъ лицомъ, точно прокуроръ и произноситъ въ честь мою тостъ. Чародѣй слова, идеалы, въ наше время, когда идеалы потускнѣли... сѣйте разумное, вѣчное... У меня такое чувство, точно я былъ накрытъ раньше колпачкомъ, а теперь колпачекъ сняли, точно въ меня прицѣпились. Послѣ тоста чокались, молчаніе. Пропало веселье—Вы теперь должны сказать,—говоритъ сосѣдка.—Но что я скажу? Я охотно бы пустилъ въ него бутылкой. И спать ложусь съ осадкомъ въ душѣ. „Смотрите, смотрите, какой дуракъ сидитъ среди насъ“.

Въ Ялтѣ, куда переселился Чеховъ изъ Мелихова, или, вѣрнѣе, куда его загнала болѣзнь, потому что онъ всегда болѣвалъ по средней Россіи съ ея интересной и красочной

жизнью,—въ Ялтѣ его популярность были громадной, поистинѣ. Безконечные посѣтители, иногда совсѣмъ незнакомые, хотѣвшіе только его видѣть, точно погрѣться въ лучахъ его славы. И стыдливо-скромный писатель относился ко всѣмъ съ неизмѣнной и нѣжной деликатностью. Объ этомъ сохранились настолько многочисленныя воспоминанія, что, можетъ быть, нѣтъ уже и надобности дорисовывать съ этой стороны личность художника. А когда онъ появлялся на улицѣ, немедленно окружала его толпа, желавшая поглядѣть на писателя. Наибольше экспансивными въ этомъ смыслѣ являлись, разумѣется, женщины изъ курортныхъ, главнымъ образомъ, посѣтительницъ и, помнится, кто-то въ шутку такъ и называлъ ихъ „антоновками“.

Тутъ ужъ, на улицѣ, такая невольная окруженность беспокоила Чехова, оскорбляя его стыдливую скромность и, вѣроятно, не разъ заставляла его отъ этой уличной славы обращаться въ постыдное бѣгство. Одно изъ такихъ бѣгствъ, по крайней мѣрѣ, я былъ близкимъ свидѣтелемъ.

Стояла хорошая, жаркая и сухая погода. Чеховъ чувствовалъ себя очень хорошо и вечеромъ предложилъ мнѣ пойти гулять съ тѣмъ, чтобы поужинать въ городскомъ саду, гдѣ, по его словамъ, хорошо дѣлалъ „судакъ кольберъ“. Съ безконечными шутками и съ разсужденіями объ этомъ, ожидавшемъ насъ судакъ, вышли мы на улицу. Прогулка шла очень недурно, но только до набережной. На набережной Чеховъ привлекъ къ себѣ вниманіе публики. На него всѣ оглядывались, а слѣдомъ за нимъ, какъ дельфины за парохомъ, показались „антоновки“. Чеховъ смущался все больше и больше.

— Пойдемъ скорѣе. А то неловко. Видишь, здѣсь много людей.

Мы ускорили шаги, добрались до городского сада и заняли столикъ. Здѣсь присоединился къ намъ еще одинъ изъ нашихъ общихъ друзей, и мы занялись гастрономическими соображеніями. Но недолго пришлось намъ на этотъ разъ благодушеествовать. Толпа, неумолимая толпа, росла кругомъ столика, а аллеи сада наполнялись мужественными и неотвратимыми „антоновками“.

— Нѣтъ, такъ невозможно. Неловко ужъ очень. Чего-жъ это они на насъ всѣ такъ глядятъ? Пойдемте въ ресторанъ, тутъ кабинетъ есть одинъ,—смущенно говорилъ Чеховъ, забывая, повидимому, что глядѣли не на насъ, а на него.

И вслѣдъ за нимъ мы вынуждены были спрятаться въ кабинетѣ. Чеховъ боялся толпы, какъ боялся позы, которой въ немъ никогда не было. И совершенно вѣрное вынесъ о немъ впечатлѣніе Купринъ, записавшій о немъ въ своихъ воспоминаніяхъ: „Есть люди, органически не перепосащѣе, болѣзненно стыдящіеся слишкомъ выразительныхъ позъ, жестовъ, мимики и словъ, и этимъ свойствомъ Чеховъ обладалъ въ высшей степени... Въ немъ жила боязнь пафоса сильныхъ чувствъ и неразлучныхъ съ ними нѣсколько театральныхъ эффектовъ“.

Въ глубокихъ сумеркахъ общественной жизни восьми-

десятихъ и девяностыхъ годовъ прошлаго вѣка проходила съ нами, далеко опережая насъ, оригинальная фигура талантливаго писателя и необыкновенно чуткаго и деликатнаго человѣка. И вотъ—прошло десять лѣтъ со дня кончины Чехова въ Баденвейлерѣ. Критическая литература продолжаетъ изучать сочиненія Чехова, а изъ оставшихся послѣ него отрывочныхъ замѣтокъ, изъ воспоминаній современниковъ, вырастаетъ мало по малу, черта за чертой,—красивая фигура человѣка въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Да, поистинѣ—„человѣкъ онъ былъ“... Въ настоящей замѣткѣ я не претендую, разумеется, поставить передъ читателемъ во весь ростъ эту красивую и оригинальную фигуру. Моя задача въ значительной мѣрѣ скромнѣй: мнѣ хотѣлось только напомнить русскому обществу о двухъ характерныхъ черточкахъ Чехова. Одна—поможетъ выясненію его личности, другая—выясненію его отношеній къ общественной жизни, къ жизни народа. Это—глубокая, всю жизнь сопровождавшая его, какая-то нѣжно-стыдливая скромность и любовное отношеніе къ народному образованію въ широчайшемъ смыслѣ этого слова и къ ближайшимъ его работникамъ. Послѣднее для нашихъ дней, можетъ быть, особенно знаменательно. Многое измѣнилось въ русской дѣйствительности съ тѣхъ поръ, какъ мы, вмѣстѣ съ Чеховымъ, шли въ глубокихъ сумеркахъ, освѣщенныхъ его талантомъ. Порою кажется намъ теперь, что свѣтлѣютъ сумрачныя тѣни и яснѣе дѣлаются очертанія ближайшихъ предметовъ. Но усталой отъ сумрака душѣ все еще не вѣрится въ скорый разсвѣтъ. Но онъ придетъ все-таки, осуществляя мечту Чехова о „жизни умной, изящной и красивой“, которую любилъ онъ предсказывать въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ,—лѣтъ черезъ двѣсти или триста... И мы не знаемъ въ точности, когда придетъ эта жизнь. Но придетъ она во всякомъ случаѣ не безъ борьбы и усилій общественныхъ. Мягкій и нѣжный талантъ, крупный художникъ,—Чеховъ не былъ борцомъ по натурѣ. Отсюда, быть можетъ, и то мимолетное недоверіе, которымъ встрѣтили на первыхъ порахъ Чехова убѣжденные борцы нашей литературы. Но для имѣющихъ уши, чтобъ слышать, Чеховъ сказалъ слишкомъ многое, освѣтилъ и продолжаетъ освѣщать тотъ путь, по которому должно идти челоѣчество. Вотъ почему къ его свѣтлой памяти и русская художественная литература и русское общество словно приложили печать съ выгравированной на ней надписью: „ипача не проходить“. И этотъ побѣдный девизъ обращаетъ для насъ, близкихъ ему современниковъ, жгучую скорбь отъ потери большаго человѣка въ тихую и примиряющую грусть. И тогда намъ кажется, что и личная жизнь не можетъ пройти и не проходить, возникая вновь въ иныхъ формахъ.. И вѣтъ тогда мѣста мертвящему холоду отчаянія...

Вл. Ладыженскій.